

Желание Бородина

Сергей Сергеевич Арутюнов,
доцент Литературного института им. Горького

Помню, бабушка впервые показала мне, мальчишке, фотографии предков, русских морских офицеров. Увидев кресты на мундирах, я скривился: «Они что, были белыми? Беляками?!»

Как назвать то чувство? Лгать бессмысленно: гадливостью, причём именно перед воинскими георгиевскими крестами. Учили нас тогда от роду и навек: кресты — от церкви, от царя-вешателя, убийцы рабочих и крестьян. Памятен тот мелочный испуг за себя — с такими корешками, чего доброго, совсем укатают. Догадка «классной» подтверждалась: классовая «нечистота» природы и породы моей нагло всплыла в образах безвестных доселе служилых людей с мохнатыми бровями и эполетами.

Бабушка так и не могла объяснить мне тогда, что такое «русские офицеры». Я твердил, что раз «присягали царю», значит, «ненавидели народ». Уже на несколько повышенных тонах бывшая дворянка тщетно пыталась перепрыгнуть стену идеологической блокады, доказывая, что до революции «царю служить было можно», что ему служили все, и возлюбленный мною «народ» в частности. Куда там...

С героями Бородина в причудливо двоящейся идеологии времён зрелого «застоя» было заметно проще: они «служили царю» так давно, что уже были за это как бы и неподсудны. Кроме того, на некоторых из них благодатно ложился отсвет декабризма. Попавшие в обе рубрики были совершенно «нашими», за них душа была спокойна и радостна. При этом не акцентировалось, что ярчайшие герои 1812-го года были совершенно иными людьми. Из пятерых казнённых при Бородине отличился лишь один Пестель (золотая шпага за храбрость), а генерал Милорадович — один из героев Бородина, русский полководец, ярче всех проявивший себя в наполеоновских войнах — был как раз декабристами и застрелен.

Дискуссии

...Подростковый рассудок представлял их подлетающими к родовому особняку на каретных розвальнях, влетающими в комнаты первого этажа и падающими в кресла от невыносимой тяжести сознания, что служить приходится кровавому антинародному режиму.

- Что с тобой, Аполлоша?
- Горестно, Надин: народ страждет.
- Так выйди, душа, на Сенатскую!

Искупительная жертва дворянской верхушки некогда устраивала всех. То, что Декабрьское восстание было «бунтом на коленях», закланием лучших, а то и масонским заговором, милостиво опускалось. Ирония по отношению к очередному гвардейскому перевороту не позволялась: Герцен освятил, Ленин приложил печать. Не удушение шарфом неудобного помазанника, но мистерия пробуждения страны ото сна, обильно политая кровью первых борцов за всеобщее счастье, — первых, исключая разве что древнейших казацких самозванцев с крючковатыми пальцами палачей и свирепыми ликами ушкуйников.

Бородино явно рассматривалось не в отдельной своей воинской оборонительной сути, а в «комплекте исторических предпосылок». Выглядело оно при этом чуть ли не подготовительным мероприятием к боям настоящим — классовым. Полигоном: будто отработала русская рать под Семёновкой некие «новые технологии» борьбы с отживающим строем, чтобы уж «затем», при случае, точно — «до основанья».

Ни единого анекдота не ходило среди нас ни о Багратионе, ни о Кутузове, несмотря на комичное для конченного циника грузинское происхождение у первого и отсутствие глаза у последнего. За полтора года лет герои Бородины успели отбежать от молвы в «иную» область — парадных портретов, равнодушно-го уважения к старине. Давились смехом лишь о поручике Ржевском да Наташе Ростовской: запоздалая месть того самого «народа» своим защитникам и кормильцам.

В сумеречную московскую обложную слякоть начала 1980-х гг. дошёл наш четвёртый или

пятый, не помню точно, пионерский класс и до Бородинской Панорамы. Страхнулись в фойе, втянулись в безвольный круг под назидательную гнусавинку экскурсоводши, бегло осмотрели те самые «портреты», попутно сосчитав, у кого наград больше и мундир глаже. Поднялись на пару пролётов.

...От Панорамы пахло пылью. Странный это был запах — земли, холста, мешковины, масляных красок, но куда свежее, словно поверх его, доносился и другой, пронзительный и неукротимый.

Холм, на котором мы стояли, был прикрыт тёмным круглым потолком, будто бы спустились мы на Поле на «летающей тарелке», распахнувшей стены для осмотра. Исчезла экскурсоводша, хотя продолжала ещё тыкать куда-то указкой, называть какие-то имена и номера частей...

Бой был совсем рядом. Из белого порохового дыма возникали кивера, сияли раскалённые кирасирские каски и кавалерийские шпаги, в переступающей с ноги на ногу тишине ржали тысячи подбитых и пущенных в карьер лошадей, долбали, вздрагивая и отскакивая назад, осанистые батареи.

На первом плане, в толстом слое чёрной жирной сажи, стояли *те самые*, мы были совершенно уверены, пушки. И от них несло чем-то оплавленным, жжённым, как от африканской саванны после сафари. Не отставали и ветхие корзины для ядер: их пруты, при большем везении могшие стать розгами для таких шkodников, как мы, легонько, но ядовито тлели.

Ноздри наши зашевелились.

День, увидели мы, был светлым, протянутым осенним холодком с неопределённо облачным пригревом, и от этого было ещё страшнее: разбросанные люди лежали вповалку, глубокие, фиолетово-багровые тени сгоревших изб целомудренно скрывали их от прямых, почти отвесных, дымных лучей. По ним стелилась жирная гарь.

С.С. Арутюнов. Желание Бородина

Едва различили коляску, увозящую Багратиона прочь от флешей, и тут же пожалели, что опоздали. Коли не дотянулись до редутов, то обязаны мы были увидеть хотя бы само ранение, и неужели бы в тот миг не повезло нам, чтобы отвлечь, закрыть, отклонить баллистику злополучного ядра? Командный пункт Кутузова нас не интересовал. Наполеона хотелось различить в цейсовский прицел, но он был далеко. Ни барабана, ни треуголки, лишь какие-то тени на холме. Километра полтора-два, не достать, вычислили отчаянным шёпотом. Даже белая лошадь его могла быть перепутана с конями маршалов!

Особенно волновал Фриан: его артиллерия выкатывалась на прямую наводку, жерла умеренного калибра смотрели прямо на нас. Невольно охватывало смятение: было совершенно непонятно, куда запропастились наши «ястребки» и почему мы стоим тут, как последние беспомощные дураки: в окопах лежали ясно различимые тяжёлые ружья, но до них надо было ещё допрыгнуть. И допрыгнули бы, если бы не идиотские позолоченные поручни, не атмосфера сытой и холодноватой имперской размерности, словно мы были чистенькими барчуками, допущенными лицезреть убийство своих прапрадедов.

Поле не было полем: сплошные пригорки, рытвины, овраги. Мимо горшков, повешенных на плетни, прыгали через капусту наши усачи. Мы слышали их опалённое дыхание.

...Чтобы написать Панораму, нужно было быть Рубо. Его подвиг оказался неповторимым: «Штурм Сапун-горы» всего лишь великолепная диорама, огромная слеза, скатившаяся на севастопольскую землю, взгляд в смертельной истоме обернувшегося на своих, погибающего за Родину советского воина. Но не круговое включение в сражение.

Отчего же именно бородинский взлёт оказался одним из самых высоких? Отчего именно Бородино, а не Куликовская, и даже, как ни кощунственно, не переход Суворова через

Альпы, не его Чёртов мост, не его Измаил, не Шипка, не оборона Севастополя, не галицийские кровавые поля, не брусиловский прорыв, равного которому нет, не было и больше не будет, — отчего?

Это ведь намного позже мы всё-таки узнали, что сражение было проиграно «по всем пунктам», что Наполеон вошёл в Москву и жёг, насиловал её до самой зимы, глумился над иконами и храмами, корчил римского завоевателя, разорял особняки, рылся по сараям и был изгнан из святого града пожарами, голодом и чувством беспомощности. Куда как позже протянулась перед нами та самая, проклятая параллель Бородина с позором Аустерлица и благопристойным стыдом Тильзита, полнейшим, на наш непросвещённый взгляд, аналогом предвоенного мира с Гитлером...

Первое чувство никогда не обманет: русские люди 1812 года не просто защитили свою столицу и погнали обессиленное неудачами снабженцев войско очередного всемирного «асвабдзителя» назад в его логово. Нет.



Русский гусар. Худ. А.Ю. Аверьянов.

Дискуссии

В сентябре 1812-го русские люди не *выглядели*, а *были* теми, кем хотели быть всегда: защитниками самого что ни на есть мирового мира от дьявольских козней. И за такую славу нужно было принести на алтарь этого самого мира сотни тысяч жизней, и эта жертва была безропотно, сразу же принесена. Над ней до сих пор никто не смеет занести руку.

Русские люди сентября 1812-го были едины в своих бесконечных сословных разногласиях между собой и спаяны одним желанием — не гордо и кичливо встать над трупом врага, но преградить дорогу мировому злу щитом собственной грудной клетки.

Именно Бородину обязана своим рождением русская литература в том виде, в котором она готовилась к своему рождению. В воинских одах восемнадцатого века она созревала, пробовала лады всемирного органа, и лишь через канавы, ямы и овраги Поля вышла на свет божий и заструилась по миру. У русских людей прорезался голос для равного разговора со всей Европой: чуть ли не впервые за долгое время они вершили её судьбу, а значит, попросту не могли, не имели права отмолчаться. Русская литература представила русскую душу.

Кажется, ни одна белая офицерская перчатка не ударила по лицу солдата в день Бородина, ни одно грязное слово понукания полков не оскорбило ни травы, ни небес бородинского Поля, хотя наверняка это было... но звук тех ужасающих криков гибели и проклятий для

нас навеки отключён. И нам не нужен тот звук. Неведение благостно: лермонтовский «дядя» обо всём рассказал сполна, и этого нам довольно. О том, как уходили обозы с ранеными, какой вой стоял в сумерках, должно многократно. Плата за историческое величие оказывается самой великой.

День русской славы и русского горя сбывался на нашей земле потом ещё не раз, но именно тот день стал ослепительным. Об интимных свойствах нации, объединённой *таким* светом, можно думать и думать. Кто бы ещё вдохновился явным численным поражением, обернув его победой не только во всей своей литературе, но в самой своей генетике? Кто бы ещё восхитился тем самым восхищением?

Мы. Наверно, именно мы, обобществлённые желанием поклоняться тому, чему поклоняемся. Здесь нам никто не указ, а это и есть, по сути, национальная свобода — вольно выбирать то, чему поклоняться, каким бы малозначущим и ничтожным наблюдателю извне ни казался предмет поклонения. Сокровенный образ мыслей угадывается и здесь: русский человек не самоубийствен, но каждый из русских людей затаённо хотел бы самоистребиться ради будущего бескрайнего добра, сгореть в лучах солнца всем воском своих домотканых крыльев.

Разве это позорно — быть и чувствовать так? Не просто помнить отвлечённое прапрадедовское Бородино, но всем сердцем хотеть его, приближать его? Жить им, дышать им?

